Ф. ВОЛЛЬМАН

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА В XVIII в. И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопросом, обозначенным в заглавии, я неоднократно занимался в связи со славистической проблематикой, основываясь главным образом на русских и советских исследованиях.[1] Я не без колебаний берусь за эту статью, которая предназначена для сборника в честь специалиста по XVIII веку, тем более, что его новая превосходная книга затрагивает и эту тему.[2] Однако я все же попытаюсь здесь обобщить результаты собственных и чужих работ в этой области.

В библиотеке Пушкина Мицкевич познакомился со «Славянскими народными песнями» Ф. Л. Челаковского, с образцами сербского эпоса в сборниках Вука Караджича, а также с другими фольклорными текстами. Автор «Руслана и Людмилы» — поэмы, разрушившей придворно-аристократическую эстетику, и автор «Баллад и романсов» вместе размышляли о смысле народного творчества и о его роли в развитии словесного искусства. Плодом этого общего интереса стали «Песни западных славян». В данном случае уместно будет привести в высшей степени компетентное суждение современного польского слависта, который руководствуется учением В. И. Ленина о двух культурах: «Все литературно-критические оценки Пушкина — будь то в напечатанных при его жизни работах, либо в корреспонденции, в набросках и проектах статей, — в целом составляют определенную позицию, без учета которой нельзя понять ни русских, ни иностранных суждений того времени о литературе. Пушкинские оценки одновременно служат ключом к пониманию многих положений, содержащихся в публицистике и парижских лекциях Мицкевича. Борьба за посте-

---

[1] Frank Wollman. 1) Sovětská věda o lidové tvorbě slovesné na nových cestách. — Slavia, XXIV, Praha, 1955, стр. 402—433; 2) Lidová slovesnost v jazykově literárním obrození u Slovanů. — Slavia, XXV, Praha, 1956, стр. 555—584; 3) Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Praha—Brno, 1958.

[2] П. Н. Берков. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века, ч. I. Изд. ЛГУ, Л., 1964. (См. в особенности конец главы 10).

пенное усвоение идеи народности искусства, которую вели Пушкин и декабристская литературная критика, нашла отзвук в последующей деятельности польского поэта».[3]

Прежде всего следует напомнить, что в лекциях Мицкевича наряду с мессианскими идеями присутствовали и здравые положения: сравнительно-исторические рассуждения польского поэта исполнены подчас гениальной интуиции, которая проистекает из его собственной творческой практики, а также оплодотворяется декабристской атмосферой и, может быть, влиянием Белинского. Высокая оценка народного творчества славян ex kathedra и в печати являлась в свое время выдающимся культурным событием. Мицкевич — в основном на материале южнославянского эпоса — утверждал: народ создает могучую героическую поэзию, которая объединяет историческое прошлое с настоящим и грядущим. Кроме того, Мицкевич уже разбирал художественную структуру поэзии Пушкина в связи с проблемами национальности и народности. Это делалось почти одновременно с Белинским, предшественником которого в этом смысле был Гоголь в своих «Арабесках». Восхищение народной поэзией, особенно славянской, стало в средней Европе некоей литературной модой; ее пропагандировали уже Тальви (Тереза Альбертина Луиза фон Якоби), Мериме, братья Гримм и т. д., не говоря о славянских ученых. Однако Мицкевич не относился к фольклору лишь как к забавному курьезу либо доказательству существования народа и его культуры; он видел органическое место народной словесности в национальной культуре. Историческая обстановка была причиной того, что Мицкевич приложил к народному творчеству свой «славянский догмат», свой мессианизм, что он рассуждал, в частности, следующим образом: все славяне — пусть они и принадлежат к разным нациям — исполнены духа всего племени; этот дух — свойство народных масс, поэтому славянские литературы возвращаются к народной культуре, выражающей интересы славянских наций, чистой и свободной от иноязычных влияний С началом XIX столетия Мицкевич связывал переломный момент литературного процесса, демонстрируя это на примере польской и русской литератур. Эпоху подготовки этого перелома он усматривал в последних десятилетиях XVIII в., что было вполне естественным для поэта-революционера, жившего в стране Великой буржуазной революции.

Для литературоведа эволюция культуры воплощается прежде всего в писательских личностях (разумеется, нельзя изолировать их от социальной структуры). И наоборот: великие художественные произведения возникают как результат определенных национальных и социальных отношений. Пушкин и Мицкевич знаменуют собою культурный этап не только для русских и поляков, но и для

---

[3] Marian Jakóbiec. Literatura rosyjska w wykładach Mickiewicza. — Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego, 1956, № 9, стр. 71—72.

остальных славянских народов, которые входили в сферу их интересов и на которых их произведения оказали сильнейшее влияние. Это — этап национальной и социальной освободительной борьбы в период возникновения капитализма.

Оба поэта, обладая литературоведческой интуицией, искали и находили те моменты в культуре XVIII в., которые обусловили мощное развитие русской и польской словесности. То, что дошло до нас в беглых историко-литературных заметках Пушкина, справедливо не только с точки зрения поэтической техники, но и в идейно-эмоциональном отношении. Суждение Мицкевича о Ломоносове совпадает с оценкой Пушкина — и тот, и другой говорили о недостатке истинного поэтического духа и о формальной зависимости от западных одических образцов. К сожалению, Мицкевич не увидел в исторических сочинениях Ломоносова «фактов, свидетельствующих об осведомленности в народной поэзии».[4] Это, вне всякого сомнения, нашло бы свое место в славянской системе («догмате») Мицкевича, которую следует рассматривать как проявление национальной и социальной освободительной борьбы.

Сосуществование и взаимовлияние литературы и устного народного творчества, а также низовой рукописной продукции современная наука рассматривает на фоне всей национальной культуры, применяя прежде всего классовый принцип. У славян фольклор занимает особое место — в период складывания буржуазных наций у южных славян, словаков, украинцев и белорусов на фольклорной основе возникают литературный язык и словесность, у чехов же, поляков и русских — «языково-литературное возрождение».

То, что именуется «гердеризмом» (интерес к старинному и современному народному творчеству), славяне знали задолго до Гердера. Вспомним хотя бы Шишгорича и современника Гердера Качича-Миошича у хорватов, из русских же — особенно Татищева, который занимался народным творчеством в начале XVIII в. и уже в 1736 г. составил обширную программу собирания устной словесности, — факт, не имеющий аналогий в европейской литературной науке того времени (годом ранее Татищев подготовил сборник пословиц). Это было нечто качественно новое по сравнению с поверхностным интересом к народной сказке во Франции в конце XVII столетия (мадам де Севинье, д'Онуа, Перро и др.). Я, разумеется, вовсе не собираюсь отрицать интереса к народному творчеству, обусловленного на Западе подъемом буржуазии. Но когда францисканец Качич-Миошич свой «Разговор угодни народа словинскога» (1756; второе издание в 1759 г.) посвящает «бедным

---

[4] П. Н. Берков. Ломоносов и фольклор. — В кн.: «Ломоносов», сборник статей и материалов, II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 111.

крестьянам и пастухам», с помощью или по крайней мере в духе которых он создал эту «писмарицу» о прошлом, о борьбе южных славян с турками, то это уже — факт социальный: становясь народной книгой, «писмарица» выходит за пределы литературы, одновременно подчеркивая значение народного творчества славян. Татищев, Курганов, Попов, Чулков, Трутовский и другие вводили народное творчество в литературу ранее Гердера.

Проблема сосуществования и взаимовлияния фольклора и литературы не может быть решена с помощью упрощенной формулы, объявляющей фольклор прогрессивным и народным, а в литературе усматривающей противоположные качества. В определенные исторические моменты литература была более прогрессивной, чем то устное творчество, которое служило реакции, что случалось нередко, особенно если вспомнить о сказочниках и песенниках, подвизавшихся в домах феодалов и помещиков. Именно русская литература последней трети XVIII в. дает нам примеры как реакционного екатерининского фольклоризма (нечто подобное, как говорилось выше, происходило столетием ранее во Франции), так и фольклоризма прогрессивного, связанного с именами Новикова, Фонвизина, Радищева. Здесь стоит заметить, что истинный фольклор, выражающий интересы народа, оставался в рамках собственной традиции, подобно тому как в аналогичных рамках оставалась прогрессивная литература. При этом, разумеется, из понятия традиции я исключаю жанровый позитивистский эволюционизм и проистекающую отсюда имманентность.

С одной стороны, нужно осторожно относиться ко всякому факту «вхождения» фольклора в литературу, даже в том случае, когда произведения устного творчества собраны и опубликованы. Это всего лишь моментальный снимок текстов, живущих далее своей коллективной жизнью, обращающихся в народе, совершенствующихся, а иногда и подвергающихся порче. Но, с другой стороны, следует отвергнуть структуралистский принцип 30-х годов, объявляющий литературу «замкнутой структурой». Всякая национальная литература открыта влияниям устного творчества и иноязычных литератур. То же самое можно сказать о фольклоре, и о русском фольклоре в частности.

Народная сатира не могла появиться в ложноклассической форме в тех случаях, когда эта сатира бичевала хищных и алчных господ, купцов, ленивых попов и продажный суд, когда она затрагивала «государство помещиков и купцов», самодержавие и крепостничество. В рукописях эта народная сатира сохранилась либо в виде коротких анекдотов, возникающих при всех авторитарных режимах, либо в виде повестей и диалогов большого размера. В печать проникали лишь образцы беззубой сатиры (высмеивающие, к примеру, взбалмошное модничанье, галломанию. распущенность светских дам). Народный богатырский эпос (не считая сборника Кирши Данилова) еще предстояло открыть. Былинные герои

2 Зак. 1065

271304 Библиотека ИРЛИ (Пушкинский Дом)

противостояли рамкам ложноклассической драматической схемы, однако они находились где-то на границе интересов возникающего разночинного читательского слоя, светских и духовных учителей, бедных купцов и ремесленников, оскудевшего поместного дворянства, которое еще не утратило связи с народом и было средоточием борьбы против создателей официальной «высокой» печатной литературной продукции. В широких кругах читателей обращались древние и новейшие рукописи, важную роль играли лубок и раек.[5] Короче говоря, читатели уже вдохновлялись великим творчеством русского народа, а не только авантюрными «романчиками», о которых писал в 1792 г. Дуриху Добровский (он наткнулся на них, по-видимому, в купеческой среде).

Творцы былин создали могучий образ богатыря-крестьянина Ильи Муромца — прямого антагониста византийского царя-солнца (roi soleil) с его неверной женой и придворными щеголями типа Чурилы Пленковича. Почти ничего не могла противопоставить этому образу богатыря «северная Семирамида» в «Записках о русской истории», где ее «nordische List», несмотря на просветительскую фразеологию, направлялась против исторической критики самодержавия. Прославление царизма в литературе придворных виршеплетов, пусть с технической стороны достигавшей уровня Державина, обезвреживалось народным эпосом. «Государство — это я», анахронистический лозунг Людовика XIV, исповедуемый екатерининским двором, постоянно и недвусмысленно отрицался русским народным творчеством, которое доказывало, что государство принадлежит вечной силе — народу. Пугачевское восстание могло достигнуть такого размаха лишь потому, что эта вера всегда жила в народе. Интерес Пушкина к фигуре Пугачева вырастает из неприязни к царице-немке, которая позволила убить мужа и разрешала своим фаворитам грабить Россию; у Пушкина чувствуется восхищение повстанцем, выросшим из народа, подобно богатырям былин. В этой же плоскости следует рассматривать суждения о «Слове о полку Игореве», принадлежащие Пушкину и Мицкевичу. «Слово» было открыто в момент господства того течения, которое в истории литературы обозначается термином «сентиментализм» или «преромантизм». В этом памятнике действует герой, представляющий таинственную силу народа: это — вещий Боян, противостоящий князьям, которые, несмотря на раздоры, олицетворяют самодержавную власть. Это почувствовал уже Карамзин, как видно из его заметки в «Spectateur du Nord» (1797). Сам историк самодержавия увидел противовес самодержавию в народе, интересы которого выражает Боян. Это обстоятельство в «Слове» подчеркивали декабристы,

---

[5] См.: Г. Гуковский. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М.—Л., 1936, стр. 14; П. Н. Берков. Русская народная драма. — В кн.: Русская народная драма XVII—XX веков. Изд. «Искусство», М., 1953, стр. 20.

сходно оценивал памятник в парижских лекциях Мицкевич: связь с народной поэзией, которую представляет Боян, привела к созданию единственной в своем роде поэмы. Карамзин интерпретировал образ Бояна с сентименталистских позиций, декабристы и Мицкевич — с позиций революционных. Не случайно Радищев, одна из жертв екатерининского террора, был первым, кто указал на народность содержания и формы «Слова», не случайно Пушкин, продолжая ту же традицию, связал народный патриотизм «Слова» с конкретной исторической ситуацией, как сделали после него Мицкевич и Маркс.

«Слово о полку», без сомнения, превысило все, что было известно прогрессивному фольклоризму в русской литературе конца XVIII в., сами разборы этого произведения разрушали эстетику классицизма. Еще раз напомню, что сборник повестей Чулкова (1766—1768) вышел на двадцать лет раньше, чем книга Музеуса, что сборником песен тот же Чулков на пять лет опередил Гердера, что уже в 1769 г. Курганов издал свой «Письмовник». Европейская фольклористическая струя слилась с русскими культурными течениями. Сотрудничество чешского музыканта Прача и Н. А. Львова предвосхитило те динамические межславянские связи, в результате которых фольклоризм стал важнейшим фактором в славянском возрождении.[6]

Взаимные отношения устного народного творчества, «низовой» письменности и «высокой» литературы в России XVIII в. не раз становились предметом исследования; однако еще рано делать окончательные выводы — это, впрочем, признает и сам П. Н. Берков. В настоящей статье я стремился подчеркнуть необходимость изучения этой темы с учетом славистической проблематики, а также важность идейно-эмоционального и социально-политического моментов.

---

[6] Frank Wollman. Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů, стр. 78 и сл.